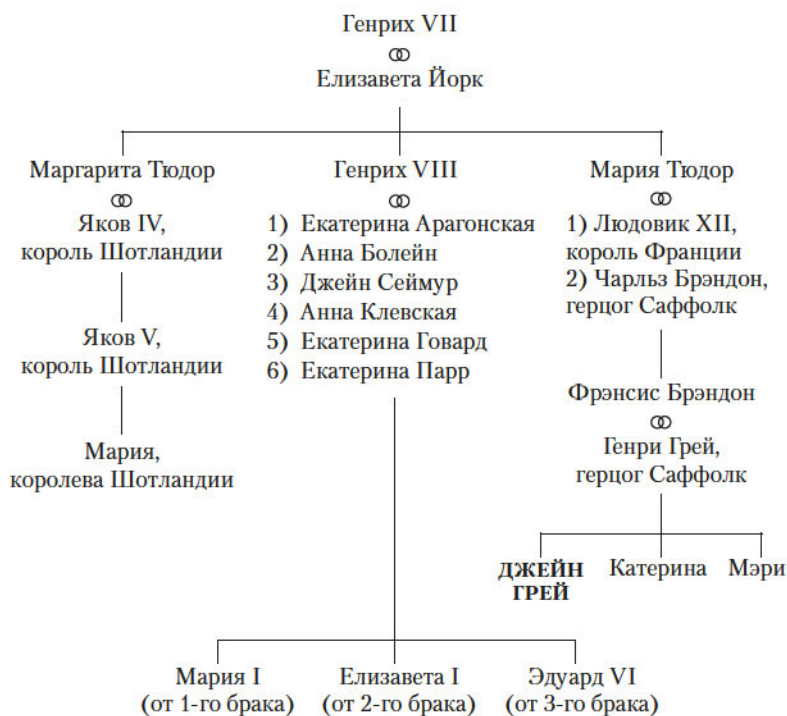
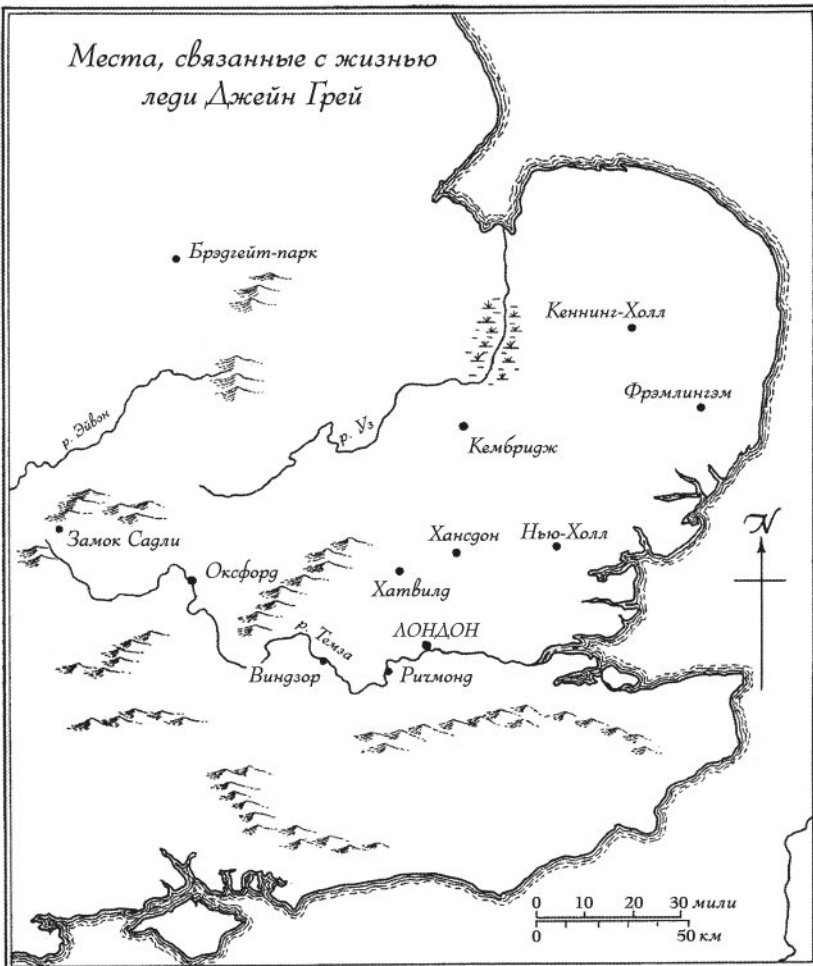


## Королевский дом Тюдоров в XVI веке



Места, связанные с жизнью  
леди Джейн Грей



Если мои грехи заслуживают наказания, то оправданием их отчасти могут служить моя молодость и доверчивость. Бог и потомки будут ко мне более благосклонны.

*Написано леди Джейн Грей в лондонском Тауэре  
в феврале 1554 года*

# ПРОЛОГ

*14 ноября 1553 года*

Все кончено. Суд завершился, и я снова в Тауэре, который совсем недавно был моим дворцом, а теперь стал моей тюрьмой.

Я сижу на своей постели, судорожно вцепившись пальцами в расшитое шерстяное покрывало. Зажженный огонь весело потрескивает в очаге, но меня бьет дрожь. Теперь я осуждена как изменница, и в ушах у меня не перестают звучать громогласные слова лорд-председателя, приговаривающего меня к сожжению на костре или отсечению головы — на выбор королевы.

Эти жуткие слова, которые любой выслушал бы с содроганием, особо страшны для меня, проведеншей на этой земле всего шестнадцать лет. Я должна умереть, только начав жить. Но как бы это ни было страшно, меня пугает не сама смерть, а вид казни. Я вдруг с ужасом замечаю пляшущие в камине языки пламени, чувствую, как затылок покрывается гусиной кожей, и мне становится дурно от обычно приятного запаха древесного дыма. Я готова закричать. Я мечусь от горя, снова и снова слыша эти слова, и не могу поверить, что они и впрямь были сказаны мне.

Не моя воля, но Твоя, Господи. И воля королевы, конечно.

Я с готовностью признаю, что совершила преступление и заслуживаю смерти за свой поступок, но то, что на него меня толкнули мое сердце и воля, я стану отрицать до последнего вдоха. *До моего последнего вдоха.* О Боже!

И все же она сказала, что верит мне. Королева приняла мое объяснение и сказала — я хорошо это помню, цепляюсь за ее слова, как тонущий моряк цепляется за обломок корабля, — что приговор будет простой формальностью. Она явно на меня разозлилась, но все же благосклонно заметила, что моя юность многое извиняет. Ей должно быть известно, что заговор был порожден не мной, что я оказалась орудием чужих преступных намерений.

Могу ли я ей верить? Она дала мне обещание, свое королевское обещание, слово королевы. Я должна твердо об этом помнить, когда меня охватывает смятение, как сейчас, в этой чистой и мирной комнате, среди привычных вещей. Я должна верить этому обещанию, я должна.

Я ложусь на кровать, глядя невидящим взором в деревянный полог. Пытаюсь молиться, но давно знакомые слова ускользают от меня. Я изнурена и обессилена, чувствую себя разбитой, словно кусок льда. Все, чего мне хочется, — это уснуть, чтобы на некоторое время отдалить этот ужас. Но сон не идет, как я ни призываю его. Вместо того, в тысячный раз, я начинаю вспоминать, как оказалась здесь. И в этом мучительном наваждении я слышу голоса, наперебой зывающие ко мне.

Они все мне знакомы. Все они сыграли роль в моей судьбе.

# ФРЭНСИС БРЭНДОН, МАРКИЗА ДОРСЕТ

*Брэдгейт-Холл, Лестершир,  
октябрь 1537 года*

Роды начинаются у меня во время прогулки в парке. Внезапно из моего чрева изливается поток жидкости, и пока камеристка бежит за полотенцами и помощью, тупая боль из поясницы смещается под ложечку. Вскоре все они — повитухи и фрейлины — окружают меня, проводят сквозь огромные ворота дворца, ведут наверх по дубовой лестнице, снимают с меня мои изысканные одежды и облачают в просторную родильную сорочку, искусно вышитую на запястьях и горловине. Потом меня укладывают в постель и суют к губам кубок сладкого вина. Вина не хочется, но я отпиваю немного, чтобы угодить им. Две мои старшие фрейлины садятся рядом, мои сплетницы, они должны скоротать со мной тяжкие часы родов, развлекая болтовней. Их задача — веселить меня и подбадривать мой дух, по мере того как боли станут усиливаться.

И они усиливаются. И часа не проходит, как тупая боль, сопровождающая каждую схватку, становится острой, точно от удара ножом, подлого и безжалостного. И все же я могу это терпеть. В моих жилах кровь королей, что придает мне сил лежать тихо, подавляя рвущиеся наружу крики. Вскоре, даст Бог, я возьму в руки своего сына. Моего сына, который не умрет так рано, как те две крохи, что лежат под плитами приходской церкви. Они умерли, не начав даже садиться или ползать. Я не отношу себя к сентиментальным натурам, наоборот, я знаю, что многие считают меня чересчур сильной

и волевой для женщины — мегера, как назвал меня однажды мой муж, во время одной из наших бесчисленных ссор. Но в самой глубине моего сердца таится местечко для этих двух крошек, которых я потеряла.

Совершенно естественно, что третья беременность часто заставляла меня тревожиться, проверяя, зажили ли былые раны или еще ноют. Знаю, что мне следует запретить себе подобные слабости. Я — племянница короля Генриха<sup>1</sup>. Моя мать была принцессой Англии и королевой Франции. Я должна выносить боль этой потери так же, как и мои роды, — с королевским достоинством, отвергая нездоровые страхи, которые, как уверяют повитухи, могут нанести вред ребенку у меня в чреве. Нужно стараться думать о хорошем, а я существо по-настоящему жизнерадостное. На этот раз, я чувствую нутром, Господь даст нам сына и наследника, которого мы так отчаянно желаем.

Проходит еще один час. Промежутки между схватками становятся короче, но боль пока терпима.

— Кричите, если нужно, миледи, — уговаривает повитуха, в то время как ее помощницы суетятся вокруг со свечами и тазами с водой.

Мне хочется, чтобы они все ушли и оставили меня в покое. Мне хочется, чтобы они впустили хоть немного свежего воздуха в эту зловонную душную комнату. Хотя на дворе день, здесь темно, ибо окна завешены гобеленами и крашеным сукном.

— Мы должны быть уверены, что дитя не простудится от сквозняков, миледи, — пояснила повитуха, распорядившись сделать это. Затем она самолично обследовала гобелены, дабы убедиться, что ничто из изображенного на них не сможет испугать ребенка.

— Разведите огонь, — командует она своим помощницам, пока я лежу и сражаюсь с болью. У меня вырывается стон. Здесь и без того жарко, и я потею как свинья. И ей, конечно, об этом известно. По ее кивку мне на лоб кладут смочен-

---

<sup>1</sup> Речь идет о короле Генрихе VIII (1491–1547). — *Здесь и далее прим. ред.*

ный водой лоскут. Однако от этого не становится легче, ибо простыни мокры от моего пота.

Я подавляю еще один стон.

— Кричите, сударыня, — снова говорит повитуха.

Но я не кричу. Я не собираюсь позориться. Признаться, больше всего меня беспокоит, как сохранить достоинство, отвечающее моему происхождению и положению. Но, лежа здесь, точно животное, силящееся вытолкнуть из себя своего детеныша, я не отличаюсь от любой рожающей потаскухи. В этом нет ничего возвышенного. Я знаю, что богохульствую, но Господь был более чем несправедлив, когда создавал женщину. Мужчинам достается все удовольствие, в то время как нам, несчастным женщинам, достается вся боль. И если Генрих думает, что после всего этого я еще буду...

Что-то происходит. Боже милосердый, что это? Господи Иисусе, когда же это закончится?

Повитуха откидывает одеяла, затем сорочку, обнажая мое распухшее напряженное тело, лежащее на кровати, с согнутыми коленями и разведенными бедрами, сует в меня свои опытные пальцы и удовлетворенно кивает головой.

— Если не ошибаюсь, этот молодец теперь уже поторавливается, — сообщает она моим фрейлинам, трепещущим от волнения, и торжественно провозглашает: — Все готово! Тужьтесь, миледи, тужьтесь!

Я собираю все свои силы, делаю глубокий вдох и с натугой выдыхаю, зная, что конец близок. Снова прижимаю подбородок к груди и тужусь, как мне велят, изо всех сил. И чудо происходит. Я чувствую, как внутри меня, в потоке крови и слизи, скользит маленький мокрый комок. Еще одна потуга, и он попадает в руки повитухе, ждущие его, чтобы немедленно завернуть в дорогой дамаст. Мельком вижу личико, похожее на сморщенный персик, и слышу крик, напоминающий мяуканье и говорящий о том, что ребенок жив.

— У вас красавица-дочь, миледи, — нерешительно проносит повитуха. — Здоровая и крепкая.

Мне следует радоваться, благодарить Господа за благополучное рождение здорового ребенка. Я, напротив, падаю духом. Все было напрасно.



# КОРОЛЕВА ДЖЕЙН СЕЙМУР

*Хэмптон-Корт, Суррей,  
октябрь 1537 года*

**И** вот началось, эти роды, которых я, мой муж король и вся Англия ждали с таким нетерпением. Вначале показалась кровь, затем всполошившиеся повитухи загнали меня в постель, боясь, как бы чего не вышло. Разумеется, все предосторожности были предприняты, чтобы избежать несчастья. Еще с начала лета, когда дитя впервые шелохнулось у меня во чреве и я появилась на публике в просторном платье, по всей земле возносят молитвы за мое благополучное разрешение. Мой муж нанял лучших врачей и повитух и щедро заплатил гадалкам, чтобы те предсказали пол ребенка: все с уверенностью пообещали, что родится мальчик, наследник английского престола. По настоянию Генриха я избегала появляться на государственных приемах, проводя эти последние месяцы в роскоши и безделье, и любой мой каприз, любая прихоть немедленно исполнялись. Он даже послал в Кале за устрицами, которых мне вдруг страстно захотелось. Я объелась ими до тошноты.

Многие беременные женщины, как говорят, погружаются в состояние эйфории по мере того, как их драгоценное бремя тяжелеет, как будто природа нарочно дает им краткую передышку перед предстоящим суровым испытанием и заботами материнства, которые за ним последуют. Но я не испытываю подобного блаженного умиротворения или радости ввиду ожидающей меня, волею Божией, блестящей будущности. Страх неотступно преследует меня. Я страшусь родо-

вой боли. Страшусь того, что станется со мной, если я рожу девочку или мертвого ребенка, как две мои злосчастные предшественницы. Страшусь своего мужа, который, несмотря на всю его преданность и заботу обо мне, все же человек, внушающий трепет даже сильнейшим. Как он вообще мог проникнуться чувством к жалкому и невзрачному существу вроде меня — выше моего скромного понимания. Мои фрейлины если и осмеливаются говорить об этом, то шепотом: мол, он любит меня, потому что я представляю собой полную противоположность Анне Болейн, этой черноглазой ведьме, которая семь лет кормила его посулами невиданных плотских утех и обещала родить сыновей, но подвела его в обоих случаях, как только он сдвинул небо и землю, чтобы надеть ей на голову корону. Не могу думать о том, что он сделал с Анной Болейн. Ибо хоть ее и признали виновной в измене — она спала с пятью любовниками, один из которых был ее собственный брат, — ужасно сознавать, что мужчина способен отрубить голову женщине, которую держал в объятиях и некогда любил до умопомрачения. И еще ужаснее сознавать, что этот мужчина — мой муж.

Поэтому я живу в страхе. Сейчас меня страшит чума, которая свирепствует в Лондоне с такой жестокостью, что король повелел не подпускать ко двору никого из города. Проведя в своих покоях последние шесть недель, согласно обычаю королей Англии, с одной только камеристкой из прислуги, в волнениях о неминуемых родах, я была во власти всевозможных мнимых тревог, так что это отчасти облегчение — сосредоточиться на событии, происходящем в действительности.

Генриха здесь нет. Он уехал на охоту, следуя своей привычке и страсти, хотя и обещал мне не удаляться более чем на шестьдесят миль. Я была бы тронута его заботой, если бы не знала, что это его советник рекомендовал ему не уезжать дальше в такое время. Но я все равно рада, что он уехал. Иначе у меня была бы еще одна причина для беспокойства. Мне невыносимо его навязчивое и одновременно трогательное желание, чтобы этот ребенок был мальчиком.

Уже полдень, и боли повторяются с нарастающей силой, хотя повитуха говорит мне, что пройдет еще несколько часов, прежде чем ребенок родится. Я молю Господа, чтобы эта пытка побыстрее закончилась и чтобы Он послал мне избавление, потому что мне кажется, я больше не вынесу.

*Хэмптон-Корт,  
12 октября 1537 года*

Прошло уже три дня и три ночи, и мои немногие силы на исходе. Никогда в жизни не приходилось испытывать подобной муки. Ни молебны, ни торжественные службы с просьбами о заступничестве, творимые в Лондоне по приказу короля, не помогают мне, ибо помочь тут нельзя. Есть только я и боль. Я не помню, почему я здесь. Я только знаю, что если закричу как можно громче, то кто-то должен будет избавить меня от этой боли.

Один раз я услышала, как спешно вызванные врачи перешептываются о том, чью жизнь им сохранять — матери или ребенка. Даже тогда мне было все равно, хотя один из них предлагал вырезать ребенка из моего чрева. Это не имело значения, коль скоро означало избавление от боли. Но с тех пор миновали часы, годы, а я по-прежнему страдаю. Они не исполнили своей ужасной угрозы.

Сейчас ночь. Я едва замечаю темноту за окном. Занавесь отодвинули в сторону, чтобы впустить свежего воздуха в комнату, которую мои роды наполнили зловонием. Врачи и женщины окружают мою постель, будто стая безумцев. Я готова испустить дух, но они мне не позволяют.

Повитуха зажимает мне нос носовым платком, посыпанным перцем, что заставляет меня яростно чихать. Внезапно боли возобновляются, нарастают, немилосердно уничтожая меня. Не имея сил даже для крика, я открываю рот в немой гримасе. Что-то происходит, меняется ритм моего тела, непреодолимая сила побуждает меня толкать, тужиться. Они все торопят меня, умоляют. И я напрягаюсь, делая одно по-

следнее гигантское усилие, я отталкиваю от себя боль; моя судьба теперь в моей власти. Потом внутри меня что-то рвется — как будто разрывает надвое.

— Здоровый, прекрасный принц, ваше величество! — ликует повитуха. Но мне все равно. У меня одно желание — спать.

# ФРЭНСИС БРЭНДОН, МАРКИЗА ДОРСЕТ

*Бредгейт-Холл,  
октябрь 1537 года*

Возгласы, доносящиеся снизу со двора, возвещают о возвращении охотников и пробуждают меня ото сна. Уже поздний вечер. Должно быть, я проспала несколько часов. Моего мужа нет.

Рядом с кроватью стоит тяжелая дубовая колыбель, вся выкрашенная яркими цветами, с резным гербом Дорсетов: два единорога в горностаевых шкурах, скрепленные золотым обручем. Внутри лежит мое дитя, уже туго спеленутое и спящее крепким сном. Подле колыбели, в сиянии свечи и пляшущих отблесках огня, сидит няня, миссис Эллен, подрубая швы на крохотном шелковом чепчике. Вновь закрыв глаза, я слышу приближающиеся шаги. Все, что угодно, но только не объяснять Генри, моему мужу, что я снова его подвела.

Но он уже знает. Едва он появляется в комнате, я понимаю это по выражению его лица. Муж уступчив во многих вещах, но это задевает его гордость, его достоинство дворянина.

— Девочка, — резко бросает он, — и опять все заново. Не понимаю, почему Господь так немилостив к нам. Мы регулярно ходим к мессе, мы жертвуем бедным, мы живем похристиански. Что еще мы можем сделать?

Я сажусь, благодарная судьбе за то, что роды прошли без разрывов. Лежа на спине, я неизбежно оказалась бы в не-

выгодном положении. Даже теперь Генри высится надо мной точно пародийное воплощение мужества.

— Девочка, по крайней мере, здорова, — холодно говорю я, — и, милостью Божьей, у нее будет брат. Я помню свой долг. А вам, сударь, сыну какого-то маркиза, не пристало напоминать мне, королевской дочери, в чем он состоит.

По его глазам я вижу, что он, против собственной воли, восхищается моим достоинством и выдержкой. Знаю, что даже сейчас, измученная родами, я для него желанна и мила, хотя и не красива в общепринятом смысле. Ему нравятся мои каштановые волосы с красноватым отливом — волосы Тюдоров, по его словам, и я подозреваю, что это одна из привлекающих его черт. Он считает, что у меня чувственные губы, он восторгается моими темными бровями, вздернутым носом, моим решительным подбородком. И хотя за четыре года я трижды рожала, мое тело, тело двадцатилетней женщины, с полными грудями и широкими бедрами, все еще способно возбуждать его, особенно эти груди, разбухшие с беременностью. Но сейчас он думает не о плотских утехах, в которых я обычно с удовольствием участвую. Нет, Генри смотрит на свою малютку-дочь и не может не улыбнуться, ибо она так похожа на своего августейшего внучатого дядю, короля: у нее такие же золотисто-рыжие волосы, решительный маленький рот и сине-зеленые глаза, взгляд которых, хотя ей всего несколько часов от роду, кажется необычайно смышленным.

К своему удивлению, замечаю, что мрачные и тонкие его черты искажаются усмешкой.

— Девица недурна, — отваживаюсь я заметить.

Он кивает, выпрямляясь. В его глазах зажигается огонек холодного расчета.

— И правда. Мы подыщем ей блестящую партию, которая принесет славу в наш дом. А пока, Фрэнсис, нам нужно побыстрее сделать ей брата. Как только ты оправишься, конечно.

— Конечно, — соглашаюсь я. — Я уже сказала, я помню свой долг.